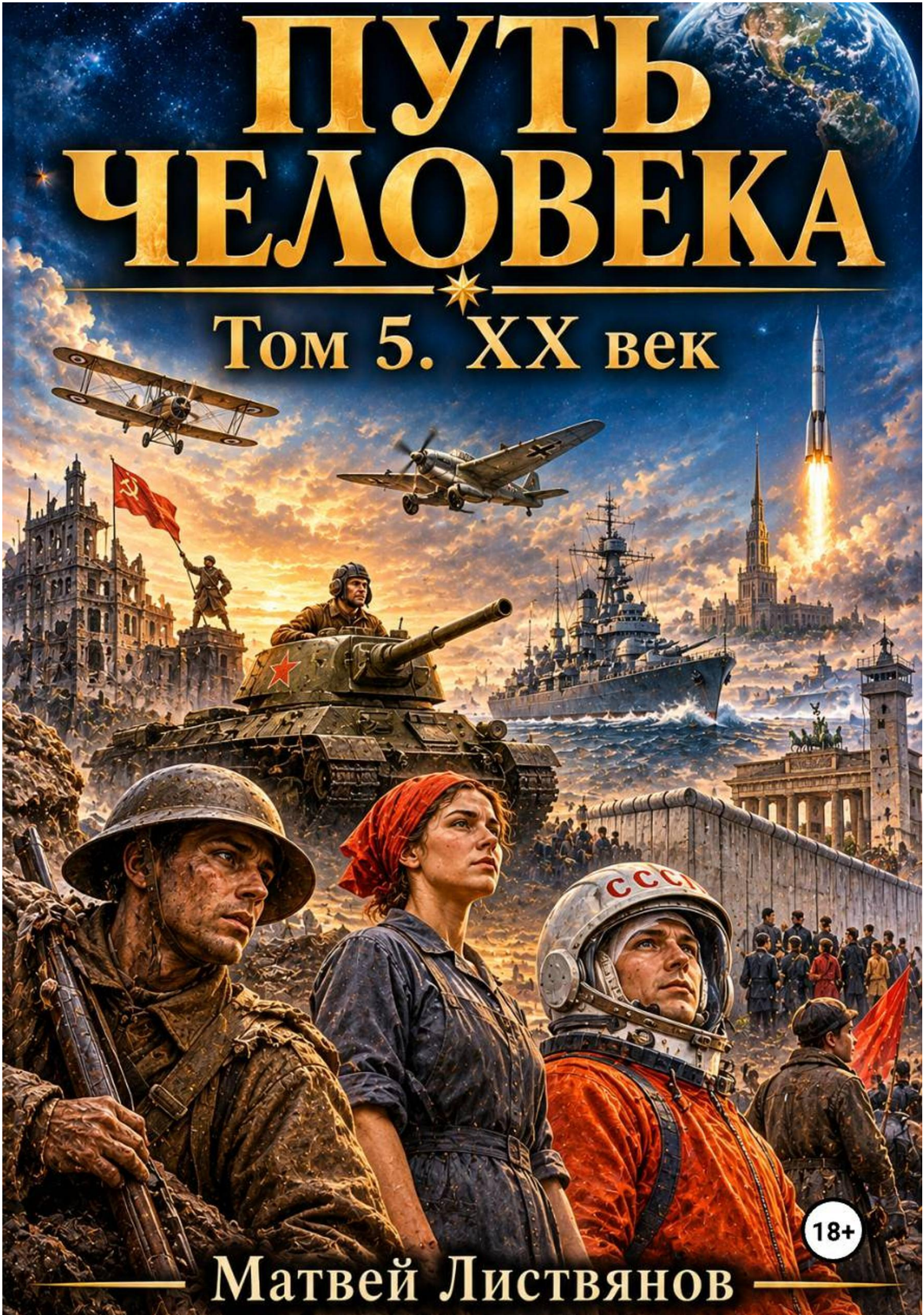
ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА

Том 5. XX век



18+

Матвей Листвянов

Матвей Листвянов

Путь человека. Том 5. 20 век

«Автор»
2026

Листвянов М.

Путь человека. Том 5. 20 век / М. Листвянов — «Автор», 2026

Двадцать две главы — самый контрастный и, пожалуй, самый тяжёлый томвсего цикла: солдат в окопах Вердена, ребёнок в концлагере, советский космонавтперед полётом Гагарина, разведчик за линией фронта холодной войны, строитель ибеглец через Берлинскую стену, партизан Вьетконга. Мировые войны,тоталитаризм и геноцид соседствуют здесь с триумфом технологии — космосом,атомом, деколонизацией, — и именно это соседство делает XX век эпохойпредельных контрастов внутри одной человеческой жизни. Пятый том цикла «Путьчеловека». Все совпадения имён случайны. Не является на 100% исторически достоверной.

© Листвянов М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Содержание 6
Солдат в окопах Вердена 7
Лётчик-ас Первой мировой 12
Красноармеец при штурме Зимнего дворца 17
Советский танкист на Курской дуге 22
Лётчик Люфтваффе 27
Партизан в тылу врага 32
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Матвей Листвянов
Путь человека. Том 5. 20 век

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Том 5. XX век

Матвей Листвянов

Содержание

Солдат в окопах Вердена
Лётчик-ас Первой мировой
Красноармеец при штурме Зимнего дворца
Советский танкист на Курской дуге
Лётчик Люфтваффе
Партизан в тылу врага
Ребёнок в концентрационном лагере
Работница тыла на заводе
Японский лётчик-камикадзе
Американский морпех на Тихом океане
Советский космонавт, готовящийся к полёту Гагарина
Американский астронавт программы «Аполлон»
Нелегал советской разведки (КГБ) на Западе
Офицер ЦРУ под дипломатическим прикрытием
Строитель Берлинской стены
Беглец через Берлинскую стену
Рабочий на стройке БАМа
Линь Сюлань — крестьянка коммуны
Гурнам Сингх — беженец Раздела
Мваники Нджороге — боец Мау-Мау
Эусебио Рамирес — крестьянин революции
Нгуен Ван Ты — партизан туннелей Кути

Солдат в окопах Вердена

Огюст Ланглуа родился в марте тысяча восемьсот девяностого года в деревне Шамбуа-сюр-Орн, затерянной среди яблоневых садов и пастбищ Нижней Нормандии, в семье, которая из поколения в поколение арендовала землю у одного и того же владельца и из поколения в поколение расплачивалась за неё третью урожая. Отец его, Жозеф, человек немногословный и тяжёлый на подъём, держал на дворе двух коров, десяток кур и упрямого мула, которого сам же в шутку назвал Наполеоном за строптивый нрав. Мать, Селестина, вела хозяйство и рожала детей — Огюст был третьим из пятерых, и двое младших умерли ещё в младенчестве, что для тех лет в нормандской глубинке было делом обыкновенным, почти не обсуждаемым вслух.

Детство его прошло между коровником, школой и садом, где по осени собирали яблоки на сидр — единственное, помимо хлеба и сала, что в доме не переводилось никогда. В школу он ходил исправно, выучился читать и писать разборчиво, арифметику освоил крепко, потому что отец рано приставил его считать выручку на рынке в Аржантане, куда возили молоко и масло. В двенадцать лет Огюст уже косил траву наравне со взрослыми мужчинами, и руки его, ещё по-детски тонкие в запястье, успели покрыться мозолями задолго до того, как на подбородке показался первый пушок.

Ремеслу его учил сам отец, без лишних слов и без снисхождения к возрасту: едва Огюсту исполнилось семь, Жозеф начал брать его с собой в хлев затемно, показывая, как правильно доить корову — ровно, с оттяжкой, не дёргая, — и как перетряхивать подстилку так, чтобы скотина не застудилась на сырой соломе. Мальчик на всю жизнь запомнил, как отец впервые вложил ему в руки косу и, не произнеся ни слова одобрения или порицания, молча наблюдал за неловкими взмахами, пока сын сам, через собственные промахи и стёртые в кровь ладони, не нашёл верный ритм движения, при котором лезвие идёт низко над землёй, а спина не разгибается раньше срока. Передавалось это ремесло в их семье не через наставление, а через совместный труд бок о бок день за днём, и Огюст много позже понял, что именно так, без единого поучительного слова, отец вложил в него не только умение держать косу и чинить упряжь, но и самое представление о том, каким надлежит быть мужчине на этой земле. Ел он в детстве просто и однообразно: ломоть ржаного хлеба с салом по утрам, похлёбку из капусты или брюквы в обед, кружку молока на ночь, а по воскресеньям, если год выдавался урожайным, — кусок варёного мяса; это нехитрое, из года в год одинаковое меню он потом, на верденских позициях, вспоминал как немыслимую, почти забытую роскошь.

В тысяча девятьсот одиннадцатом году, как и полагалось всякому французскому юноше того поколения, Огюста призвали на действительную службу — на два года, в пехотный полк, расквартированный неподалёку от Кана. Служба показалась ему тогда скучноватой повинностью: муштра на плацу, чистка винтовки Лебеля, долгие переходы с полной выкладкой, воскресные увольнения в город, где можно было выпить стакан сидра и потанцевать с горожанками. К лету тысяча девятьсот тринадцатого года он отслужил своё и вернулся домой, в Шамбуа, помогать отцу на земле и подумывать о женитьбе — среди соседских девушек ему давно нравилась Мадлен Прюнье, дочь деревенского каретника.

Ухаживал он за ней по деревенскому обычаю — неспешно и обстоятельно. По воскресеньям после мессы он провожал её от церкви до дома каретника неблизкой дорогой, через яблоневые сады, будто бы случайно выбирая самый долгий путь, а по праздникам приглашал на танцы, где старательно, хоть и не без солдатской неуклюжести, вёл её в кругу под гармошку заезжего музыканта. Мадлен, девушка бойкая на язык и насмешливая, поначалу откровенно подтрунивала над его уставной выправкой и привычкой отвечать коротко, по-военному, но мало-помалу между ними установилось то негромкое взаимопонимание, каким в нормандских деревнях нередко заменяли влюблённым пылкие признания: он без просьбы чинил расшатав-

шуюся ось на отцовской повозке каретника, она оставляла ему лучший кусок пирога после воскресного обеда, и оба понимали эти знаки лучше всяких слов. К лету четырнадцатого года дело явно шло к помолвке, и Жозеф уже без особой охоты, но и без возражений прикидывал вслух, какую часть надела можно будет выделить сыну под отдельное хозяйство после женитьбы, — разговор, который война отложила на долгие пять лет.

Когда в августе четырнадцатого объявили всеобщую мобилизацию, Огюст, уже отслуживший и числившийся в резерве, был призван в числе первых. Односельчане провожали уходящих на станцию с цветами и криками, твёрдо веря, что война, как тогда говорили, закончится к Рождеству; Огюст же, памятуя армейскую выучку, простился с родителями коротко и без лишних слов, оставив Мадлен обещание писать при каждой возможности. Первые месяцы войны его полк провёл в тяжёлых манёвренных боях на Марне, где немецкое наступление на Париж было остановлено ценой огромных потерь с обеих сторон, а затем, с приходом осени, война в тех местах замерла и обратилась в долгое сидение в наспех отрытых земляных норах — в то, что позже назовут окопной войной. Зиму и весну пятнадцатого года полк простоял в секторе Аргоннского леса, где бои шли за клочки перепаханной земли и где Огюст впервые увидел, как снаряд разносит человека так, что хоронить после приходится не тело, а то, что от него осталось в мешке.

В конце февраля тысяча девятьсот шестнадцатого года немецкая армия обрушила на французские позиции под Верденом невиданной силы артиллерийский удар, рассчитывая одним решительным натиском сломить французскую оборону и выбить Францию из войны. Полк, в котором служил Огюст, стоял тогда в относительно спокойном секторе восточнее, но уже в первых числах марта его подняли по тревоге, погрузили в вереницу грузовиков и бросили в самое пекло — туда, где французское командование наладило особую систему переброски подкреплений, которую солдаты между собой прозвали "нориа", по образцу водоподъёмного колеса с бесконечной цепью черпаков: часть вводили в бой на несколько дней, перемалывали почти до последнего человека, выводили назад на короткий отдых и пополнение, а затем снова бросали вперёд — и так цепь полков крутилась месяцами, пока вся армия не прошла через верденскую мясорубку хотя бы раз.

Огюста определили в роту, занимавшую позиции близ форта Сувиль, на подступах к деревне Флёри-деван-Дуомон, которая за те месяцы переходила из рук в руки столько раз, что от неё не осталось ни единого целого дома — только обугленные остовы печных труб среди воронок, да и сами эти трубы к лету сравняло с землёй. Вода в этом секторе была ценнее хлеба: колодцы были разбиты снарядами или отравлены, а доставлявшуюся с тыла воду нередко привозили уже протухшей в ржавых канистрах, пропахшей бензином от грузовиков, и пить её приходилось, зажимая нос.

Как-то в начале мая Огюста с двумя товарищами послали через то, что осталось от Флёри, чтобы оборудовать на дальнем краю развалин наблюдательный пост, и этот недолгий переход он запомнил отчётливее иных боёв. Деревню, в которой до войны жило без малого пятьсот человек, нельзя было узнать даже по общим очертаниям: ни одной улицы, ни одного угла дома не осталось на прежнем месте, а единственным ориентиром служил покосившийся остов колодезного ворота, торчавший среди воронок там, где когда-то, видимо, была площадь. Под ногами то и дело попадались обломки прежней мирной жизни — черепки посуды, погнутая дверная петля, вросший в грязь обрывок детской обуви, — и Огюст, переступая через них, впервые по-настоящему осознал, что здесь до войны жили такие же крестьяне, как он сам, с такими же коровниками и садами, от которых за несколько месяцев не осталось решительно ничего, кроме условного значка на штабной карте. Деревню эту так и не отстроили заново: после войны её официально признали полностью уничтоженной и включили в недолгий список французских селений, которые решили оставить мёртвыми навсегда, в память о том, что здесь произошло.

Дорогу, по которой шло снабжение этого участка фронта, солдаты называли между собой священной — она оставалась единственной артерией, по которой день и ночь, без остановки, двигались грузовики с подкреплением, боеприпасами и ранеными в обратную сторону, и разбитый щебень на ней приходилось подсыпать заново чуть ли не каждые сутки, потому что колёса и гусеницы перемалывали дорожное полотно в пыль быстрее, чем его успевали чинить. Огюст запомнил эту дорогу прежде всего по звуку — ровному, неумолчному гулу моторов, который не прекращался даже под обстрелом, — и по лицам людей в кузовах встречных грузовиков: у едущих вперёд лица были ещё обычными, уставшими, но живыми, а у тех, кого везли назад, лица были такими, что на них старались не смотреть подолгу.

Сама линия фронта под Верденом к лету шестнадцатого года превратилась в лунный пейзаж, лишённый всякой растительности: воронка налезала на воронку так плотно, что между ними не оставалось ровного клочка земли размером больше обеденного стола, а деревья, прежде стоявшие здесь густым лесом, были срезаны снарядами на уровне колена и торчали из земли обугленными пнями, похожими издали на вбитые в землю гвозди. Огюст, выросший среди нормандских садов, первое время не мог отделаться от ощущения, что оказался не на войне, а на какой-то другой, мёртвой планете, где не осталось ни единой живой травинки.

Худшие одиннадцать суток своей жизни Огюст провёл в начале июня того года, когда роту бросили удерживать разрушенную позицию у форта Тиомон под почти беспрерывным немецким артиллерийским огнём. Снаряды падали так часто и так густо, что земля под ногами не переставала вздрагивать ни днём, ни ночью, а звук отдельных разрывов сливался в один протяжный гул, от которого у людей начинала идти кровь из ушей. Есть в эти дни было почти нечего — кухня не могла подойти ближе чем на несколько километров, а те, кто пытался донести паёк по разбитой снарядами дороге, сами нередко гибли по пути, — и Огюст вместе с товарищами по отделению неделю питался сухарями, размоченными в дождевой воде из воронки, да изредка банкой тушёнки на троих.

На девятые сутки немцы применили газ — тяжёлое, стелющееся облако, которое ветром снесло прямо в их траншею прежде, чем люди успели как следует натянуть противогазовые маски. Огюстов товарищ по отделению, невысокий весёлый парень из Кана по фамилии Утен, с которым они вместе призывались ещё в одиннадцатом году, замешкался с застёжкой маски на какую-то долю секунды дольше нужного и захлебнулся собственными лёгкими уже через несколько часов, в полевом перевязочном пункте, хрипя и царапая ногтями землю, — Огюст держал его за руку до самого конца, не в силах ничем помочь, кроме как не отпускать эту руку. Он не плакал тогда — слёз не было, была только звенящая, оглушительная пустота, — и заплакал много позже, уже стариком, вспоминая об этом в разговоре с внуком.

На десятые сутки, выбираясь ночью проверить проволочное заграждение, Огюст едва не столкнулся лицом к лицу с немецким солдатом, сидевшим в той же воронке, куда он спрыгнул в поисках укрытия от очередного обстрела. Оба были без оружия в руках в ту секунду — винтовки остались наверху, — оба контужены и оглушены до предела, и несколько долгих мгновений они просто смотрели друг на друга в свете далёких осветительных ракет, два измученных до крайности человека в разорванной форме разных цветов, одинаково не способных ни напасть, ни убежать. Немец первым отполз в свою сторону воронки, и Огюст, вместо того чтобы кинуться следом с ножом или голыми руками, остался лежать неподвижно, пока тот не скрылся в темноте, — и много лет спустя признавался себе, что в ту минуту не ненависть, а одна только взаимная, невысказанная усталость удержала обоих от последнего, бессмысленного в своей жестокости поступка.

Позицию у форта Тиомон рота удержала, хотя от неё самой к исходу тех одиннадцати суток осталась едва ли треть личного состава. Пополнение, прибывшее после ротации в тыл, Огюст встретил со странным, не вполне понятным ему самому чувством: безусые новобранцы смотрели на него, уже закопчённого верденской гарью, с тем же почтительным ужасом, с каким

сам он когда-то смотрел на ветеранов Марны, и он поймал себя на мысли, что между человеком, призванным год назад, и человеком, призванным вчера, пролегла пропасть, которую не измерить никаким календарём.

Через месяц отдыха в тылу роту вновь погнали в тот же жернов по системе нориа — на этот раз в сектор форта Во, где бои шли с не меньшим ожесточением, — и Огюст, уже знавший, чего ждать, с горечью отметил про себя, что страх притупляется не от храбрости, а просто от усталости: пугаться в полную силу у человека просто не остаётся душевных сил после определённого предела. В августе того же года Огюста самого контузило близким разрывом и зацепило остаточным газом, так что он почти неделю не мог говорить внятно и ещё долго после госпиталя заходился сухим, лающим кашлем при малейшем усилии. Госпиталь под Шалоном, куда его эвакуировали, показался раем после Вердена — чистые простыни, суп без привкуса гари, — и именно там он впервые за полгода написал Мадлен письмо длиннее нескольких строк.

После выздоровления Огюст вернулся в строй и в семнадцатом году оказался в числе частей, затронутых волной солдатского недовольства, прокатившейся по французской армии после неудачного и кровопролитного наступления на Шмен-де-Дам, — недовольства, которое командование предпочло замять скорыми дисциплинарными мерами и частичными уступками, не допустив его перерастания в открытый бунт. Сам Огюст в те месяцы отделался лёгким ранением в руку осколком и достоял до самого конца войны, встретив Компьенское перемирие одиннадцатого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года в тыловом госпитале, куда попал с очередным обострением лёгких.

Домой, в Шамбуа-сюр-Орн, Огюст вернулся весной девятнадцатого года — исхудавший, с застарелым кашлем, который не отпускал его уже никогда, но живой, чего нельзя было сказать о доброй половине его довоенных товарищей. Мадлен Прюнье, дождавшаяся его все эти годы, стала его женой в том же году, и у них родилось трое детей — две дочери и сын, которого назвали в честь погибшего под Верденом Утена. Огюст вернулся к земле, которую арендовала его семья, со временем выкупил часть надела у постаревшего владельца и прожил остаток жизни крестьянином, как и его отец до него, — только по ночам Мадлен иногда будили его сдавленные крики во сне, а днём он порой замирал посреди разговора и смотрел сквозь собеседника несколько долгих секунд, прежде чем вернуться к прерванной мысли.

По воскресеньям, когда позволяла погода и хозяйство, Огюст иногда встречался с двумятремя уцелевшими односельчанами, тоже прошедшими через Верден, и они подолгу сидели за сидром, вспоминая не сами бои — об этом между собой говорить было не принято, — а мелкие, почти бытовые подробности фронтовой жизни: вкус той или иной сгущёнки из пайка, повадки ротного старшины, забавный случай с заблудившейся в траншее собакой. Односельчане говорили, что только в такие вечера лицо Огюста по-настоящему оживало, а в остальное время он оставался человеком тихим и погружённым в собственные мысли, которого хозяйство и дети научились не тревожить понапрасну.

Каждый год, одиннадцатого ноября, Огюст надевал единственный свой приличный костюм и ехал на автобусе в Верден, к оссуарию Дуомон, огромной усыпальнице с костями неопознанных солдат, построенной к началу тридцатых годов над полем былых боёв, — он не любил рассказывать об этих поездках домашним, но пропускал их едва ли раз в десятилетие, по болезни. Там он неизменно отыскивал взглядом табличку с именем Утена среди тысяч прочих и подолгу стоял перед ней молча, не снимая шляпы. Иногда, если оставалось время, он заходил и к скромному памятному знаку на месте бывшей Флёри, среди таких же навсегда упразднённых деревень, и подолгу смотрел туда, где, по его собственным прикидкам, должен был стоять замеченный им в ту давнюю майскую вылазку колодезный ворот.

Огюст Ланглуа умер тихо, во сне, зимой тысяча девятьсот семьдесят первого года, в восемьдесят лет, в том же доме в Шамбуа, где прожил почти всю свою долгую жизнь. Внук

его, названный в честь деда тем же именем, разбирая после похорон старый комод, нашёл там пожелтевшую фотографию роты, сделанную ещё до Вердена, и бронзовую медаль за участие в сражении — и много лет спустя, уже сам немолодым человеком, свозил эту фотографию к оссуарию Дуомон, чтобы оставить её там, рядом с именем Утена, как своего рода запоздалое прощание за деда, который никогда не умел прощаться вслух.

Лётчик-ас Первой мировой

Гарольд Пирс родился в марте тысяча восемьсот девяносто шестого года в деревне Эшли-Грин, графство Кент, в доме, где пахло яблоками и машинным маслом одновременно: отец держал небольшую кузницу, которая к концу века всё больше превращалась в мастерскую по починке велосипедов. Мальчик рос среди железных обрезков, цепных звеньев и запаха горячего металла, и уже в десять лет умел разобрать и собрать втулку заднего колеса быстрее, чем иной взрослый мужчина успевал выкурить трубку.

Авиацию он впервые увидел вживую в тысяча девятьсот десятом году, когда в соседний Кентербери на один день залетел странствующий авиатор с хрупким бипланом, собранным из реек и полотна, и за шиллинг катал желающих посмотреть на поле с высоты птичьего полёта. Гарольду было четырнадцать, денег у него не было, и он смотрел на взлёт с дальнего края поля, вцепившись пальцами в изгородь, пока машина, треща мотором, не стала размером с муху и не растаяла в полуденной дымке. Домой он шёл молча и всю дорогу прикидывал в уме, из чего можно было бы собрать крыло, если бы в деревне нашлось достаточно реек и простыней.

Когда в августе четырнадцатого началась война, Гарольду было восемнадцать, он работал подмастерьем у отца и, как многие его сверстники, воспринимал известие о мобилизации скорее как повод для мальчишеского азарта, чем как катастрофу. Записываться в пехоту он не спешил — не из страха, а потому что твёрдо для себя решил: если воевать, то в воздухе. В начале тысяча девятьсот пятнадцатого года он добрался до вербовочного пункта Королевского лётного корпуса в Лондоне и, предъявив справку о том, что умеет чинить мотоциклетные моторы, был принят механиком, а затем, после настойчивых просьб, переведён на должность наблюдателя.

Первые месяцы службы прошли на аэродроме под Сент-Омером, во Франции, вдали от боевого неба: он обтягивал полотном крылья разведчиков и учился узнавать на слух перебои двигателя. Наблюдателем он полетел впервые весной шестнадцатого года на тихоходном двухместном биплане БЕ-2, неповоротливой машине, которую пилоты эскадрильи между собой называли "летающим гробом" за устойчивость, купленную ценой полной беспомощности перед немецким истребителем. Сидя в передней кабине с биноклем и блокнотом, Гарольд должен был наносить на карту вражеские позиции, пока пилот сзади вёл машину прямым курсом — курсом, по которому немецкая зенитная батарея могла пристреляться со второго выстрела. В один из таких вылетов шрапнель прошила крыло в полуметре от его плеча, и он, вернувшись на аэродром, долго разглядывал рваные пробоины в полотне, не в силах унять дрожь в руках.

Пилотом он стал почти случайно — эскадрилье не хватало лётчиков, и командир, узнав, что механик Пирс неплохо чувствует машину, отправил его на ускоренные курсы. Школа пилотирования в Англии в те годы была местом, которое убивало больше людей, чем сам фронт: курсанты садились за штурвал после пяти-шести часов налёта, инструкторов было так мало, что на каждого приходилось по десятку учеников, да и сами учебные аэропланы были теми же машинами, что списывались с фронта как устаревшие и ненадёжные. За три недели обучения Гарольд похоронил двоих товарищей по казарме — одного, когда у того заглох мотор на развороте и машина сорвалась в штопор над самым полем, другого, когда курсант, впервые оставшийся один в кабине, растерялся на посадке и врезался в ангар. Самого Гарольда это не пугало так, как могло бы: он с детства знал, что машина прощает только тех, кто её понимает, и с упрямством кузнеца раз за разом разбирал в памяти каждое движение рычагов, прежде чем садиться в кабину.

Инструктор, худой нервный капитан с неизменной трубкой в зубах, учил курсантов по старинке: показывал фигуру в воздухе один раз, а затем отправлял ученика повторять её в

одиночку, глядя с земли и записывая в блокнот фамилии тех, кто вернулся. Парашютов на учебных машинах не было, как не было их и на фронте, и капитан объяснял это с той же будничной интонацией, с какой говорил о расходе бензина: лётчик должен бороться с машиной до земли, а не искать повода её покинуть. Гарольд слушал эти слова без возражений — тогда ему, восемнадцатилетнему, они казались почти разумными, — и лишь много позже, глядя на собственного сына, уже привычно пристёгивающего лямки парашюта перед вылетом, понял, насколько эта логика была логикой людей, которым нечего было терять, кроме чужих жизней.

Выпустившись из школы, Гарольд получил назначение в истребительную эскадрилью и в первые недели на фронте с удивлением обнаружил, что вчерашние курсанты, с которыми он завтракал за одним столом, один за другим исчезают из расписания вылетов без следа и без возможности проститься — машину сбивали, и место за столом на следующее утро просто не накрывали, будто его никогда и не было. Он научился не запоминать имена слишком быстро и слишком крепко, потому что память, перегруженная чужими лицами, начинала мешать в воздухе, где требовалось мгновенное, холодное внимание к одному-единственному вопросу: откуда сейчас зайдёт солнце и кто в нём прячется.

К лету шестнадцатого года он вернулся во Францию уже пилотом разведывательной эскадрильи, а к осени — пересел на верткий одноместный Ньюпор-17, который по сравнению с БЕ-2 казался живым существом: лёгким, отзывчивым, способным крутить вираж там, где прежняя машина только неуклюже переваливалась. Небо над Соммой в те месяцы было забито аэропланами с обеих сторон настолько плотно, что сражение, казалось, шло не столько на земле, сколько здесь, в слоистом сентябрьском воздухе, пропахшем бензином и порохом разрывов шрапнели. Гарольд записал первую подтверждённую победу в октябре — сбил немецкий разведчик, который, задымившись, боком ушёл к земле за линией фронта, — и вместе с тем впервые по-настоящему понял, что смотрел не на падающую машину, а на живого человека внутри неё.

Апрель тысяча девятьсот семнадцатого года эскадрилья запомнила надолго: позже этот месяц в сводках и разговорах лётчиков станут называть кровавым, и не из красного словца. Под Аррасом британская авиация потеряла за те четыре недели столько экипажей, что средний срок жизни нового пилота на фронте, по сухим подсчётам штабных писарей, не дотягивал и до трёх недель боевых вылетов. Немецкие истребители новых серий превосходили английские машины в скорости и скороподъёмности, и эскадрилья Гарольда за один апрель сменила состав почти наполовину. Он тогда написал домой короткое письмо, в котором не было ни слова жалобы, только просьба прислать тёплые носки и табак, — но мать, перечитывая это письмо через много лет, говорила, что именно в нём впервые за всю переписку сын не упомянул ни одного имени товарища по эскадрилье, словно разучился их заводить.

Разговор о парашютах в их лётной столовой заходил часто, обычно поздно вечером, когда кто-то не возвращался с вылета и его порцию рома, налитую по заведённой традиции, выпивали за упокой остальные. Парашюты в том виде, в каком их знают сейчас, к тому времени уже существовали и даже испытывались — но командование Королевского лётного корпуса считало, что, выдай пилотам такую возможность спастись, они станут покидать повреждённые машины вместо того, чтобы драться до последнего, и предпочитало держать лётчиков без права на отступление. Счёт в эскадрильях вели по сбитым аэропланам противника, а не по тому, вернулся ли сам пилот на аэродром живым; это было известно каждому, кто садился в кабину, и каждый по-своему научился с этим жить, не говоря об этом вслух.

Лето семнадцатого года Гарольд встретил уже на новой машине — S.E.5a, строгом, быстром аэроплане, который пилоты уважали за надёжность мотора и недолюбливали за тяжёлое управление на малых скоростях. К этому времени на его счету числилось шесть подтверждённых побед, и товарищи по эскадрилье в шутку звали его Кузнецом — то ли за происхождение,

то ли за манеру методично, без лишнего риска разбирать противника в воздушном бою, будто деталь на верстаке.

Кульминационный бой случился в сентябре семнадцатого года, в сумерках, над линией фронта восточнее Ипра. Патруль из четырёх S.E.5a наткнулся на группу немецких истребителей, возвращавшихся с собственного задания, и завязалась свалка, в которой уже через минуту невозможно было понять, где свои, а где чужие машины: небо расчертили трассирующие нити, дым разрывов зенитных снарядов мешался с низкими облаками, и Гарольд, бросая аэроплан из виража в вираж, видел перед собой только мелькающие силуэты крестов на крыльях и свои собственные руки, намертво вцепившиеся в рычаги. Немецкий истребитель вывалился сверху, из-за солнца, и первая же очередь прошила капот его мотора: S.E.5a дёрнулся, мотор поперхнулся, по правому борту потянулась тонкая, быстро густеющая полоса дыма.

В эту секунду Гарольд успел подумать удивительно ясно и спокойно, без той паники, которую, казалось бы, полагалось испытывать человеку на горящей машине без единого шанса выпрыгнуть: прыгать было некуда, под ним лежала линия фронта, и единственным исходом прыжка стала бы верная смерть без парашюта с высоты в полторы тысячи футов, тогда как у подбитой машины ещё оставался шанс дотянуть. Он перевёл аэроплан в скольжение, сбивая пламя потоком воздуха, — приём, которому его научил ещё старый механик в Сент-Омере, — и мотор, захлёбываясь, всё же продолжал тянуть вперёд, к своей стороне фронта. Немецкий истребитель вышел ему в хвост для последней атаки, но в этот момент один из товарищей Гарольда — молодой лейтенант по фамилии Стритем, присоединившийся к эскадрилье всего три недели назад, — зашёл немцу в борт и дал длинную очередь; вражеская машина резко отвалила и ушла со снижением на свою территорию, так и не добив подранка. Гарольд посадил дымящийся аэроплан на брюхо в пятистах метрах от своего аэродрома, уже за полосой колючей проволоки, и пожарная команда успела сбить пламя прежде, чем огонь добрался до баков. Выбираясь из обгоревшей кабины с ожогом на предплечье, он не испытывал ни торжества, ни ужаса задним числом — только странную, почти механическую усталость человека, который только что в очередной раз остался жив по чужой милости и случаю.

Через два дня лейтенант Стритем, спасший ему жизнь, не вернулся с утреннего патруля — его машину видели падающей в клубах дыма где-то над немецкими позициями, и тело так и не нашли. Гарольд писал матери Стритема короткое письмо, в котором пытался описать его храбрость, и поймал себя на том, что уже в третий раз за год пишет подобное письмо чужим родителям, а своё собственное, которое могли бы написать его родителям, пока откладывает неизвестно куда.

Жениться на войне он не торопился — не потому что не было чувства, а потому что слишком ясно видел, сколько вдов остаётся в деревнях после каждого потерянного экипажа. Была у него переписка с девушкой по имени Эдит Марчант, дочерью кентерберийского бакалейщика, с которой он познакомился ещё до войны на деревенской ярмарке и которая писала ему в часть длинные, подробные письма обо всём на свете — о погоде, о соседской корове, о том, что пора красить забор. Он отвечал коротко и сухо, боясь привязать её к себе крепче, чем позволяла судьба лётчика образца семнадцатого года, но письма от неё хранил в нагрудном кармане лётной куртки вместе с фотографией матери, и однополчане знали: если механик видит, что Пирс перед вылетом трогает нагрудный карман, значит, тот не в духе.

На побывке дома, весной семнадцатого года, он однажды попытался объяснить Эдит, что такое вылет на рассвете, когда роса ещё блестит на крыльях и мотор долго не желает заводиться на морозном воздухе, но, встретив её расширенные от ужаса глаза, оборвал рассказ на середине и перевёл разговор на починку изгороди у её отца. Он быстро понял: рассказывать о войне тем, кто остался дома, значит вынуждать их жить с этим грузом, не имея ни малейшей возможности от него защититься, — и с тех пор предпочитал писать и говорить о пустяках, оставляя тяжёлое при себе.

К весне тысяча девятьсот восемнадцатого года на счету Гарольда числилось одиннадцать подтверждённых побед, и его перевели инструктором в тыловую лётную школу — решение, принятое штабом не из милосердия, а из прагматичного расчёта: опытных пилотов, доживших до такого счёта побед, оставалось слишком мало, чтобы разбрасываться ими в последние, самые ожесточённые месяцы войны. Инструкторская должность спасла ему жизнь так же верно, как скольжение на горящем моторе двумя годами ранее, хотя сам он видел в этом переводе скорее дезертирство, чем спасение, и ещё долго, стоя на краю лётного поля в Англии, провожал взглядом очередного зелёного курсанта, отправлявшегося во Францию вместо него.

Перемирие одиннадцатого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года застало его в учебной эскадрилье под Личфилдом; в тот вечер в офицерской столовой пили не за победу, а, как показалось Гарольду, с каким-то растерянным облегчением людей, которые ещё не научились заново жить без ожидания собственной смерти по расписанию. Домой в Эшли-Грин он вернулся спустя несколько месяцев, уже демобилизованный, с шрамом на предплечье и с тем особым взглядом, который его мать назвала "взглядом в пустую комнату" — привычкой на миг замирать и смотреть сквозь предмет перед собой, прежде чем вернуться к разговору.

Эдит Марчант он сделал предложение летом девятнадцатого года, на той же ярмарочной поляне, где когда-то мальчишкой смотрел на первый в своей жизни аэроплан. Поженились они в небольшой кентской церкви осенью того же года, и в отличие от многих товарищей по эскадрилье, не доживших даже до перемирия, Гарольд получил то, в чём война отказала стольким другим: обычную, длинную жизнь. Он открыл в Кентербери небольшую мастерскую по ремонту автомобилей и мотоциклов, со временем взяв в компаньоны одного из бывших механиков эскадрильи, и лишь изредка, по выходным, поднимался в воздух на лёгком спортивном аэроплане — уже не ради боя, а просто чтобы вспомнить, каково это, когда земля внизу становится похожей на карту, расчерченную живыми изгородями.

Мастерская в Кентербери поначалу едва сводила концы с концами: механиков, вернувшихся с войны и ищущих заработок, в графстве хватало, а клиентов с достаточными деньгами на ремонт автомобиля было немного. Выручила давняя привычка к точности: слава о мастере, способном на слух определить, какой клапан начал стучать, разошлась по округе быстрее любой вывески, и к середине двадцатых годов мастерская Пирса и его компаньона чинила уже не только мотоциклы, но и первые грузовики окрестных фермеров.

У них с Эдит родились сын и дочь; сын, к огорчению и тайной гордости отца одновременно, тоже выбрал авиацию и в тысяча девятьсот сороковом году летал истребителем над южной Англией в небе, снова до предела заполненном вражескими машинами, — и на этот раз, в отличие от отцовского поколения, в кабине у него под сиденьем лежал парашют, которым он однажды и воспользовался, выпрыгнув из горящего "харрикейна" над Кентом в двух милях от родной кузницы деда. Узнав об этом, Гарольд, которому самому в молодости выпрыгивать было попросту некуда, впервые за много лет не сдержал слёз — не от страха за сына, а от того особого, горького облегчения, что хоть кому-то в его роду война оставила шанс, которого не было у него и его товарищей.

Дочь Маргарет пошла по более тихой дороге: выучилась на учительницу и всю жизнь преподавала в той же кентской школе, где когда-то училась сама, и именно она, уже в преклонных годах, разобрала после смерти отца коробку с его военными бумагами и фотографиями, решив, что эти листки заслуживают большего, чем пылиться на чердаке.

Сам Гарольд Пирс дожил до глубокой старости, пережив жену на четыре года, и умер в тысяча девятьсот семьдесят третьем году в том же Кентербери, в возрасте семидесяти семи лет, тихо, во сне, в доме, из окна которого было видно лётное поле, давно заросшее травой. Внуки запомнили деда не рассказчиком военных историй — он говорил о войне крайне скупо, — а человеком, который до последних лет держал в ящике комода пожелтевшую фотографию молодого лейтенанта Стритема и каждый год одиннадцатого ноября, в минуту молчания,

доставал её и ставил на каминную полку, не произнося ни слова. Маргарет впоследствии передала эту фотографию вместе с его лётной курткой в небольшой местный музей графства, снабдив короткой подписью: "Гарольд Пирс, пилот, вернувшийся домой, — в память о тех, кто не вернулся".

Красноармеец при штурме Зимнего дворца

Григорий Нечаев родился в 1884 году в Петербурге, в Нарвской части, недалеко от застав, за которыми начинались огороды и пустыри, переходившие в заводские дворы. Родился он самым обыкновенным образом, в комнате при казарме для семейных рабочих, в доме, где на одной лестнице теснилось человек сорок детей. Отец его, Фома Нечаев, пришёл в столицу из тверской деревни ещё в семидесятых годах и всю жизнь простоял у вагранки на Путиловском заводе, том самом, что к концу века сделался крупнейшим промышленным предприятием империи, выпускавшим паровозы, рельсы и броню для флота. Мать стирала бельё на соседей и умерла, когда Григорию было восемь, от чахотки, как и многие женщины их квартала, куда солнце в окна заглядывало от силы час в день, да и то зимой почти не заглядывало вовсе.

В двенадцать лет Григорий поступил на тот же завод учеником в кузнечный цех: о мечте о ремесле речи не шло, семье попросту нужны были его руки и его гривенники. Он быстро выучился держать клещи и чувствовать металл по цвету каления, а грамоте выучился позже, уже подростком, в воскресной школе при заводе, куда ходил не столько ради знаний, сколько ради того, чтобы посидеть в тепле лишний час. Двенадцатичасовая смена, грохот молотов, запах окалины и машинного масла стали для него не тяготой, а просто воздухом, которым он дышал с детства и не представлял себе иного. К двадцати годам он перешёл в токарный цех, освоил станок, и мастер ценил его за ровную, без брака работу.

Девятого января тысяча девятьсот пятого года Григорий вместе с тысячами других путиловцев шёл в той самой колонне, что двинулась к Зимнему дворцу с иконами и портретами государя, с прошением о заводских нуждах, — и на всю жизнь запомнил, как колонна споткнулась о ружейный залп у Нарвских ворот, как падали на снег люди, шедшие рядом с ним, и как он сам, оглушённый и не понимающий происходящего, бежал потом через дворы, прижимая к груди оцарапанную пулей руку соседа. Кровавое воскресенье не сделало его сразу революционером — для этого Григорий был слишком занят мыслями о хлебе и о заработке, — но что-то в нём с того дня надломилось: вера в то, что достаточно просто и честно попросить, уступила место более трезвому и горькому пониманию устройства вещей.

Женился он в тысяча девятьсот седьмом году на Авдотье Силиной, дочери соседа по казарме, работавшей на соседней текстильной фабрике, и у них родилось двое детей — сын Фёдор и дочь Галина. Жили небогато, но справно по меркам рабочей слободки: Григорий зарабатывал на хорошем счету у мастера, Авдотья подрабатывала шитьём, и к началу германской войны семья даже сумела снять отдельную комнату взамен казарменного угла. По воскресеньям, если смена заканчивалась засветло, Григорий иногда водил детей на берег Финского залива — дорога туда в выходной день не казалась такой уж дальней, — и Фёдор с Галиной подолгу бегали у кромки воды, пока отец молча курил неподалёку, радуясь недолгому, украденному у заводской недели покою.

Григорий не был человеком начитанным сверх надобности и партийных брошюр своих товарищей по цеху поначалу сторонился, считая, что рабочему человеку спорить с хозяевами проще делом, чем словом, — но год за годом, слушая разговоры в курилке и наблюдая, как заводская контора раз за разом находит повод урезать расценки, он всё отчётливее понимал правоту тех, кто говорил о необходимости перемен более решительных, чем жалобы в заводоуправление. К началу германской войны он уже не чурался разговоров о профсоюзах и стачечных комитетах, хотя сам предпочитал держаться в тени, выполняя скорее роль надёжного исполнителя, чем вожака.

Война обернулась для завода и его рабочих не патриотическим подъёмом, обещанным в газетах, а изнурительными сверхурочными сменами, ростом цен на хлеб при неизменном жалованье и слухами о поражениях на фронте, которые плохо вязались с официальными свод-

ками. К шестнадцатому году в цехах уже открыто, хотя и опасливо, говорили о том, что войне не видно конца, а хлеб в лавках то и дело исчезает по неделям; среди рабочих цеха ходили листовки, которые Григорий читал и передавал дальше, не подписываясь ни под какой партией, но всё больше склоняясь к мысли, что старому порядку пришёл срок.

Особенно отчётливо врезалась Григорию в память одна смена в начале шестнадцатого года, когда в обеденный перерыв по цеху разнёсся слух, что заводская лавка уже в третий раз за месяц не получила обещанного хлеба. Цех глухо загудел, кто-то из молодых крикнул бросать работу, и не успел мастер опомниться, как половина смены уже стояла у ворот конторы, требуя объяснений от управляющего. Вышедший к рабочим чиновник отделался уклончивыми словами про перебои с подвозом и обещал разобраться к вечеру, но хлеба в лавке не прибавилось ни в тот день, ни на следующий, а короткая эта стачка, продлившаяся всего несколько часов, разошлась сама собой, не добившись ничего, кроме того, что мастер занёс в список неблагонадёжных ещё десяток фамилий. Григорий держался тогда в задних рядах — не из трусости, как он сам себе признавался, а по давней, въевшейся привычке не высовываться раньше времени, — но домой в тот вечер шёл с тем же холодным чувством, какое не отпускало его после Кровавого воскресенья: пустые полки заводской лавки были красноречивее любых листовок.

Февраль семнадцатого года Григорий встретил на заводе, в гуще всеобщей стачки, перешедшей в уличные демонстрации, а когда стало ясно, что государь отрёкся и власть переменилась, записался вместе с десятками товарищей по цеху в заводскую дружину самообороны — в то, что вскоре начнут называть Красной гвардией. Винтовку ему выдали старую, кавалерийского образца, с которой он, впрочем, выучился обращаться за несколько недель патрулирования заводских окраин по ночам, где хватало и грабителей, и слухов о контрреволюционных заговорах.

К осени семнадцатого года усталость от войны, от дороговизны и от нерешительности Временного правительства в рабочих кварталах достигла предела, и когда в конце октября по цехам разнёсся слух, что дело идёт к решительному перевороту, Григорий без долгих колебаний явился на сборный пункт дружины с винтовкой и с тем же холодным, усталым чувством, с каким когда-то шёл к Зимнему дворцу с иконой двенадцать лет назад, — только на этот раз не с прошением, а с оружием.

Вечером двадцать пятого октября по старому стилю отряд, в который входил Григорий, был переброшен в центр города и ближе к ночи оказался в цепи, обложившей Зимний дворец, где заседало Временное правительство под защитой юнкерских училищ и женского батальона. Ожидание у дворцовых решёток затянулось на многие часы: то и дело шли слухи, что штурм вот-вот начнётся, то отбой, то снова команда готовиться, а холодный осенний ветер с Невы пробирал людей, просидевших у костров почти сутки без горячей пищи. Григорий, как и многие вокруг него, больше всего в ту ночь боялся не вражеской пули, а собственной неловкости — оказаться среди тех, кто побежит первым и будет потом стыдиться этого перед товарищами.

Когда наконец, уже глубокой ночью, прозвучал сигнал к движению, оказалось, что штурмовать, по сути, почти нечего: большая часть защитников дворца — юнкера и женский ударный батальон — оставила позиции ещё до начала движения толпы, не видя смысла держать оборону ради правительства, которое само толком не могло организовать собственную защиту. Григорий вместе с десятками других дружинников, матросов и солдат гарнизона хлынул через слабо охраняемые ворота и дальше, в бесконечный лабиринт дворцовых коридоров, где в темноте, при свете редких фонарей, невозможно было понять, какая из тысячи одинаковых дверей ведёт в зал заседаний, а какая — в кладовую или в чей-то забытый кабинет. Отдельные выстрелы где-то в глубине здания, отдельные крики, топот множества ног по паркету, запах пороха и сырой шинельной шерсти — вот из чего, как потом вспоминал Григорий, состоял этот прославленный впоследствии штурм, больше похожий на огромную, бестолковую облаву, чем на настоящее сражение.

Самым опасным моментом той ночи оказались не защитники дворца, а винные погреба: едва разнёсся слух о несметных запасах старого вина в подвалах, толпа ринулась туда с жадностью, которую не могли сдержать ни командиры, ни увещевания, и Григорий своими глазами видел, как кто-то разбивал бутылки прикладом просто от возбуждения, а кто-то пил прямо из горла, не разбирая марки. Отданный по рядам строгий приказ — не допустить пьяного погрома под страхом расстрела на месте — выполнялся с переменным успехом; несколько человек, по слухам, в ту ночь всё же захлебнулись вином в разгромленных подвалах, а караулы у входов в погреба пришлось выставлять и после взятия дворца, чтобы прекратить растаскивание бутылок. Министров Временного правительства, укрывшихся в одном из внутренних покоев, арестовали почти без сопротивления — Григорий видел издали лишь спины конвоируемых штатских людей в помятых костюмах, которых уводили коридором мимо него, и не испытал при этом ничего похожего на торжество, какого ожидал от этой минуты.

К рассвету всё было кончено, и, выйдя на дворцовую площадь в сером предутреннем свете, Григорий поймал себя на странном, почти обманутом чувстве: событие, о котором уже на следующий день заговорили как о начале новой эры, на деле заняло не более нескольких суматошных, холодных и во многом бестолковых часов, в которых было больше путаницы и усталости, чем героизма. Убитых и раненых с обеих сторон за всю ночь набралось немного — по большей части случайные жертвы в дальних помещениях дворца да несколько человек, пострадавших в давке у винных подвалов, — и это тоже не вязалось с тем образом великой битвы, который Григорий позже слышал в официальных речах на заводских митингах.

Первые послереволюционные годы дались семье Нечаевых тяжело: Гражданская война и разруха обернулись для Путиловского завода перебоями с сырьём и топливом, цеха простаивали неделями, а паёк, который выдавали рабочим, едва позволял не умереть с голоду. Григорий тогда вступил в продотряд, выезжавший в деревни за хлебом для голодающего города, — работа тяжёлая и неблагодарная, нередко сопровождавшаяся враждебностью самих крестьян, которых приходилось убеждать расставаться с зерном, — но считал её прямым продолжением той же правды, за которую когда-то шёл к Зимнему дворцу. Однажды в заволжской деревне, куда отряд нагрянул по доносу о спрятанном хлебе, Григорий сам нашёл яму с зерном под полом амбара, укрытую рогожей и слоем навоза, и, доставая оттуда мешок за мешком, поймал себя на том, что избегает смотреть в глаза хозяйке избы, застывшей на пороге с ребёнком на руках, — застывшей не со злобой, а с тем же самым, узнаваемым по собственному детству взглядом человека, у которого отнимают последнее. Он тогда впервые задумался, точно ли правда всегда на одной стороне, но гнал от себя эту мысль так же решительно, как станет гнать её годы спустя, читая в газетах о врагах народа.

К середине двадцатых годов, с введением новой экономической политики, завод понемногу ожил, и Григорий вернулся к привычному токарному станку уже не рядовым рабочим, а бригадиром, которому доверяли обучать молодёжь.

Цех при нэпе жил по новым, не всегда понятным Григорию правилам: рядом с государственным заказом на паровозные детали завод теперь выполнял и мелкие частные заказы — для расплодившихся по городу нэпманских мастерских и лавок, — и кое-кто из старых путиловцев ворчал за куревом, что опять работают на хозяйчика, только тот теперь зовётся иначе. Григорий к таким разговорам относился сдержанно: платили при нэпе исправнее, чем в голодные девятнадцатый и двадцатый годы, в лавках снова появился настоящий хлеб вместо суррогата, и он находил в этом не измену революционной правде, а её же, только более сытое и спокойное продолжение. Молодёжь в своей бригаде из шести токарей он учил тому же, чему когда-то выучился сам у вагранки, — не торопиться, слушать металл и беречь инструмент, — и один из учеников, щуплый парнишка по фамилии Крюков, к концу двадцатых годов освоил станок настолько чисто, что Григорий, не без тайной гордости, прозвал его в шутку «младшим Нечаевым».

В последующие годы Григорий Нечаев остался тем же, кем был всегда, — токарем, только теперь уважаемым на заводе человеком, одним из тех, кто брал Зимний, вступил в партию по убеждению, без карьерного расчёта, и в двадцатые-тридцатые годы честно тянул лямку мастера цеха, обучая молодых рабочих тому же ремеслу, которому сам когда-то выучился у вагранки. Сын его Фёдор пошёл по заводской же дороге, выучился на инженера, дочь Галина стала фельдшером; казалось, что жизнь семьи, начинавшаяся в казарменной тесноте Нарвской заставы, наконец выправилась и обрела прочную советскую почву под ногами.

К середине тридцатых годов завод, давно переименованный и перестроенный, бурлил стахановским соревнованием, и Григорий, хотя сам уже разменял шестой десяток, старался не отставать от молодых токарей, перевыполнявших нормы вдвое и втрое, — не столько из тщеславия, сколько из привычного рабочего упрямства не числиться среди отстающих. По вечерам он всё чаще заставал себя задумывающимся о том, куда подевался тот прямой и понятный смысл борьбы, с которым он когда-то шёл к Зимнему дворцу: газеты писали о врагах народа, о вредителях, пробравшихся на заводы, и Григорий, читая эти заметки, гнал от себя смутное, неприятное чувство, что круг подозреваемых в иной день может сомкнуться вокруг кого угодно, в том числе и вокруг него самого. Как-то раз на цеховом собрании, созванном после очередной газетной статьи о вредителях, парторг прямо с трибуны предложил желающим высказаться о бдительности на рабочих местах, и зал ответил тягостным, неловким молчанием, которое прервал лишь один голос, торопливо и невпопад похваливший новые нормы выработки, лишь бы не говорить о том, о чём говорить от него явно ждали. Григорий в тот вечер промолчал вместе со всеми и шёл потом домой с тем же тяжёлым чувством, что уже тревожило его по ночам все последние месяцы.

Доносчиком оказался Опанас Крутов, сосед по лестничной площадке, которого Григорий до того считал едва ли не приятелем, — не раз одалживал ему рубль до получки, да и чинил как-то его старый примус бесплатно. За месяц до ареста Крутов стал держаться с Григорием заметно холоднее обычного, избегал смотреть в глаза при встрече на лестнице, и Григорий, замечая эту перемену, списывал её на обычную соседскую размолвку, не придавая ей значения, пока не стало слишком поздно. В последнюю субботу на свободе он, как обычно, вернулся с завода, поужинал с Авдотьей и детьми простой картофельной похлёбкой, прошёлся после ужина до угла и обратно подышать воздухом, как делал это почти каждый вечер многие годы подряд, — и лёг спать, не подозревая, что видит эту обыденность в последний раз: ни тревожных снов, ни дурных предчувствий в ту ночь не было, одна только усталость токаря, отработавшего смену у станка.

Осенью тысяча девятьсот тридцать седьмого года за Григорием пришли ночью — по тому самому доносу Крутова, обвинившего его в контрреволюционной агитации и связях с троцкистским подпольем, обвинении столь же нелепом, сколь и обыденном для той поры. Авдотья после ареста мужа ещё много месяцев носила передачи в тюрьму на Шпалерной, пока ей наконец не объявили сухо, без подробностей, что муж осуждён без права переписки, — формулировка, за которой, как узнала вся страна много позже, в подавляющем большинстве случаев скрывался расстрел. Григория Нечаева расстреляли в январе тысяча девятьсот тридцать восьмого года, спустя двадцать с небольшим лет после той ночи на Дворцовой площади, которую он сам считал главным событием своей жизни. Авдотье долго не говорили даже этого, оставляя её десятилетиями гадать между слабой надеждой на лагерь где-то на севере и худшими предположениями, которые она гнала от себя, но которым, по позднейшему признанию дочери, в глубине души верила с самого начала.

Сын его Фёдор погиб в тысяча девятьсот сорок третьем году под Ржевом, так и не узнав правды о судьбе отца, — официально числился пропавшим без вести, и семья ещё долго надеялась на его возвращение. Дочь Галина пережила блокаду Ленинграда, вырастила собственных детей и лишь в начале девяностых годов, уже глубокой старухой, получила из прокуратуры

короткую справку о полной и посмертной реабилитации отца за отсутствием состава преступления — бумагу, которую она потом долго держала в руках, не зная, плакать ей или смеяться над тем, как поздно и как скупо государство признаёт свои ошибки перед теми, кто когда-то брал для него штурмом дворец. Справку эту она хранила потом в том же комоде, где прежде лежала отцовская старая орденская книжка, и показала внукам лишь однажды, в глубокой уже старости, коротко сказав при этом только одно: что отец брал Зимний ради той же простой, упрямой правды, с которой когда-то шёл к заводским воротам требовать хлеба, — вовсе не ради орденов и будущих справок, — и что эту правду у него так и не отняли ни тюрьма, ни пуля, ни долгие десятилетия казённого молчания.

Советский танкист на Курской дуге

Степан Горбунов родился в 1919 году в деревне Лужки, в средней полосе России, среди полей, перелесков и неглубокой, но упрямой речки, которая каждую весну выходила из берегов и заливала низину под околицей. Отец его, Фёдор Горбунов, одним из первых в деревне вступил в колхоз — не столько по убеждению, сколько по трезвому крестьянскому расчёту: к тому времени единоличное хозяйство уже давило налогами и поставками так, что держаться за межу стало накладнее, чем отдать лошадь и соху в общий двор. Мать, Анна Григорьевна, растила троих детей и держалась в стороне от собраний и разговоров о политике, справедливо полагая, что её дело — печь и огород, а не правление.

Начало тридцатых годов запомнилось Степану не как отвлечённая цифра из учебника, а как самое обычное, будничное чувство голода, которое не отпускало по нескольку месяцев кряду: мать варила похлёбку из лебеды пополам с остатками прошлогодней муки, а по весне дети ходили на прошлогодние поля собирать мёрзлую картошку, уцелевшую под снегом. Не все в деревне пережили ту зиму, и Степан на всю жизнь запомнил соседскую избу, в которой за одну неделю умерли двое стариков, а дом потом долго стоял заколоченным, пока в него не пустили новую семью. Семья Горбуновых выстояла — отцовская должность кузнеца в колхозной кузнице давала хоть какой-то твёрдый приработок, и Фёдор с утра до ночи пропадал у горна, чиня плуги, бороны и упряжь для всей округи.

Именно в кузнице у отца Степан впервые полюбил железо и огонь: ему нравилось, как раскалённый прут меняет цвет от вишнёвого к соломенному, как под молотом он послушно гнётся туда, куда его ведёт рука мастера. К двенадцати годам он уже умел разжечь горн и подать нужный инструмент, не дожидаясь просьбы, а в четырнадцать выпросил у отца позволения пойти на курсы при машинно-тракторной станции, куда как раз завезли первые колёсные тракторы и где остро не хватало рук, способных разобраться в моторе. Учили там без лишних церемоний — показали раз, остальное добирай сам, — и Степан, с детства приученный к железу, освоил устройство трактора быстрее иных взрослых курсантов. В шестнадцать лет он уже сидел за рычагами колёсного "Фордзона", а позже и более тяжёлого гусеничного трактора, и бригадир МТС, человек скупой на похвалу, как-то обронил при всех, что из этого парня вышел бы толковый механик-водитель, если бы довелось ему сесть не на трактор, а на боевую машину.

Жизнь при МТС в те годы шла своим особым укладом, непохожим ни на деревенский, ни на городской: трактористы и механики жили артелью в длинном бараке при мастерских, питались из общего котла, а по вечерам, после смены, собирались у движка, слушавшего редкий по тем временам радиоприёмник. Степан сдружился там с двумя-тремя парнями постарше, повидавшими машины ещё с гражданской войны, и перенял у них привычку, которая потом не раз спасала ему жизнь на фронте: прежде чем тронуться с места, непременно обойти машину кругом и на ощупь проверить катки и подвеску, не доверяя одному только взгляду. Летом тридцать седьмого года, во время уборочной страды, бригада, в которой Степан работал на тракторе, установила в районе рекорд по вспашке зяби, и его фотографию, пусть и в общем ряду других трактористов, впервые напечатали в районной газете — вырезку эту мать хранила потом много лет, даже когда от самой газетной бумаги остались одни линялые полоски.

Слова эти оказались почти пророческими. В 1939 году Степана призвали в армию, и, когда он на медкомиссии упомянул про трактор и МТС, его, не долго думая, направили в танковую часть — водить машины умел не каждый призывник, а умеющие ценились на вес золота. Служба в мирное время прошла спокойно, он успел дослужиться до младшего сержанта и получить права механика-водителя на лёгком танке БТ-7, но довоенная подготовка оборвалась внезапно и резко: 22 июня 1941 года застало его часть на марше в западных областях

страны, и то, что начиналось как плановые учения, в одно утро обернулось отступлением под ударами немецкой авиации.

Первые месяцы войны Степан вспоминал потом скупо и неохотно — долгие марши, горящие машины товарищей, брошенная на обочинах изувеченная техника, бесконечная неразбериха отступления, в которой сам он уцелел скорее по случайности, чем по умению. К исходу 1941 года от его роты в строю осталось меньше трети людей и ни одной целой машины, а самого Степана, контуженного взрывом авиабомбы под Смоленском, отправили в госпиталь, откуда он вышел уже не механиком-водителем лёгкого танка, а курсантом ускоренных курсов переподготовки на новую машину — тридцатьчетвёрку, Т-34, о которой среди фронтовиков уже ходила слава как о танке, способном на равных драться с немецкими машинами.

Курсы длились всего два с половиной месяца вместо довоенного года обучения — война не оставляла времени на роскошь долгой подготовки, — но Степан, уже знакомый с устройством гусеничной машины и с механикой вообще, схватывал программу быстрее многих новичков из пехоты, пересаженных на танки без всякого прежнего опыта. Весной 1942 года он получил назначение механиком-водителем в только что сформированный экипаж и месяц спустя уже участвовал в тяжёлых оборонительных боях под Воронежем, а к зиме — в уличных боях на подступах к Сталинграду, где горели не только танки, но, казалось, сама земля, пропитанная соляркой и кровью. Там же, под Сталинградом, он потерял своего первого фронтового командира — лейтенанта, совсем молодого парня из-под Казани, который сгорел в соседней машине на глазах у всего экипажа Степана, не успев даже выбраться из люка.

К весне 1943 года потрёпанную в боях часть отвели на переформирование, доукомплектовали новыми машинами и людьми и после недолгого отдыха перебросили в район Курского выступа — туда, где, по слухам, ходившим среди солдат задолго до начала каких-либо боёв, немцы готовили большое летнее наступление, а советское командование, в свою очередь, готовило встречный удар невиданного прежде масштаба. Степан получил новый экипаж: командиром машины стал молодой лейтенант по фамилии Остапенко, вчерашний выпускник училища, заряжающим — спокойный, немногословный уралец Фрол Дементьев, а стрелком-радистом — казах Касым Жумабеков, успевший до войны поработать на угольной шахте и неизменно напевавший себе под нос какую-то степную мелодию, когда экипаж коротал время на привалах.

Недели ожидания перед наступлением дались экипажу тяжелее, чем иной бой: разведка то и дело доносила новые сведения о сосредоточении немецких танковых дивизий по ту сторону фронта, и слухи о невиданных новых немецких машинах с усиленной бронёй и длинноствольными орудиями будоражили людей сильнее любых открытых учений. Лейтенант Остапенко каждый вечер собирал экипаж у машины и заново разбирал с ними порядок действий на случай встречи с такими танками, а Фрол Дементьев, в прошлом работавший на руднике, шутил, что ждать удара, зная заранее почти день и час, — испытание похуже самой драки, потому что драка хотя бы не оставляет времени на мысли, а ожидание — только из них и состоит.

Лето выдалось душное, с грозовыми тучами, которые собирались к вечеру, но так и не проливались дождём — только сушили воздух ещё сильнее, — и весь июнь часть простояла в выжидании среди перелесков южнее Прохоровки, вкапывая машины в капониры и маскируя их срубленными ветками. Пятого июля немецкое наступление наконец началось, а неделю спустя, двенадцатого июля, роту, в которой служил Степан, бросили в контрудар на поле южнее железнодорожной станции Прохоровка — туда, где с обеих сторон к одному и тому же клочку степи стягивались сотни машин, чтобы столкнуться лоб в лоб в сражении, которому предстояло войти в историю как крупнейшая встречная танковая битва.

С первых минут боя Степан понял, что привычной тактики манёвра и обстрела с дальней дистанции здесь не будет: танки сходились так тесно, что орудия били почти в упор, а дистанция между машинами порой не превышала полусотни метров — слишком близко, чтобы

прицельно выбирать уязвимое место, и слишком тесно, чтобы вообще понять, куда безопаснее повернуть машину. В тесном боевом отделении Т-34 стояла удушающая жара, к которой добавлялся едкий запах сгоревшего пороха от каждого выстрела собственного орудия и ещё более едкий, тошнотворный запах горящей солярки и обугленного металла, долетавший снаружи через открытые на секунду люки. Степан вёл машину почти вслепую, ориентируясь по командам лейтенанта Остапенко и по собственному чутью, лавируя между горящими остовами — своими и чужими, в дыму уже почти неразличимыми, — и каждую секунду ожидая удара, который мог прийти откуда угодно.

Удар пришёл со стороны, которую никто не ждал: немецкая машина с длинноствольным орудием, замаскированная за подбитым остовом, ударила в правый борт их тридцатьчетвёрки почти в упор. Снаряд пробил броню у боеукладки, и внутреннее пространство танка на мгновение залило ослепительной вспышкой и грохотом, от которого у Степана заложило уши и потемнело в глазах. Когда он пришёл в себя — секунды спустя или минуты, он так и не понял, — в отделении стоял густой дым, а сквозь гул в ушах пробивался только один звук: пронзительный, короткий крик Касыма, оборвавшийся так же внезапно, как начался. Фрол Дементьев, оглушённый и раненный осколком в плечо, тащил Степана за ворот комбинезона к нижнему люку, что-то крича, — слов Степан не разбирал и угадывал их по губам: "Горим! Вылезай!" Касыма вытащить не успели — тело его осталось у орудийной башни, там же, где застал его осколок снаряда, пробившего борт.

Степан вывалился из люка на обожжённую, перепаханную гусеницами землю, не чувствуя толком собственных ног, и единственное, что успел заметить краем немеющего от контузии сознания, — что гимнастёрка на нём тлеет, а левая рука от локтя до кисти покрыта волдырями ожога, которых он ещё не чувствовал, но уже видел. Лейтенант Остапенко выбрался следом, но, оглядевшись среди горящих машин и дыма, в котором невозможно было различить, где свои, а где чужие, потащил обоих уцелевших в воронку от снаряда, подальше от пылающего танка, в котором в любую секунду могли сдетонировать оставшиеся снаряды. Они пролежали там, не поднимая головы, добрых полчаса, пока бой не откатился чуть в сторону, а потом ползком, помогая друг другу, выбрались к своим пехотным порядкам.

Поле после того боя представляло собой зрелище, которое Степан позже отказывался описывать подробно даже самым близким людям: сотни исковерканных, обгоревших машин, разбросанных по пшенице и бурьяну на расстоянии вытянутой руки друг от друга, сдетонировавшие башни, отброшенные взрывом на десятки метров, и запах горелого металла и человеческой плоти, который, казалось, въелся в землю на годы вперёд. Касыма Жумабекова похоронили в братской могиле неподалёку от станции, вместе с десятками других танкистов, и Степан, стоя у наскоро вырытой ямы с непокрытой головой, впервые за всю войну позволил себе заплакать — не от жалости к себе, а от того особого, ничем не унимаемого горя, которое приходит, когда теряешь человека, с которым делил броню, хлеб и молчание многих месяцев.

После госпиталя, где ему лечили ожоги и контузию, Степан вернулся в строй уже осенью, с новым экипажем и новой машиной.

Самым тяжёлым из последующих боёв стала для него переправа через Днепр той же осенью сорок третьего года, под Кременчугом, куда дивизию перебросили спустя считанные недели после его выписки из госпиталя. Тяжёлые машины переправляли через широкую, уже холодную реку на наскоро сколоченных паромах и плотах из подручных брёвен, под почти непрерывным огнём немецкой артиллерии, бившей по переправе едва ли не вслепую, но достаточно часто, чтобы время от времени выбивать то один, то другой паром прямым попаданием. Танк Степана и ещё две машины роты переправляли ночью на двух таких паромах, и, когда снаряд разорвался в полусотне метров от настила, подняв стену воды выше человеческого роста, механик соседней машины — вчерашний пехотинец, пересаженный на танк без всякой прежней подготовки, — с перепугу рванул рычаги не в ту сторону и едва не столкнул свою машину

с брёвен в воду. Степан, перекрикивая гул близких разрывов, помог ему вслепую, на ощупь, выправить гусеницу обратно на настил, и оба парома в ту ночь всё же достигли правого берега — с пробоинами в бортах от осколков, но на плаву. Закрепившись на плацдарме, который пехота удерживала уже третьи сутки ценой тяжёлых потерь, рота на рассвете отбила немецкую контратаку, и Степан навсегда запомнил свежевырытые, ещё пахнущие сырой глиной окопы на прибрежной круче, усеянные стреляными гильзами по самый бруствер.

После этого Степан прошёл с боями через остальную Украину, участвовал в освобождении Польши и закончил войну весной 1945 года на подступах к Берлину — но об этих годах он рассказывал скупо, одной-двумя фразами, будто весь остаток войны после Прохоровки слился для него в одну серую полосу усталости, в которой не было уже ни страха, ни удивления, а только привычная, въевшаяся в кости работа: вести машину туда, куда скажут, и надеяться пережить ещё один день.

Домой, в Лужки, Степан вернулся в конце 1945 года, демобилизованный по ранению, с орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу", и в деревне его встретили как героя, хотя сам он этого слова избегал и на расспросы отвечал неохотно. Через год после возвращения он женился на Клавдии Пронякиной, работавшей на той же машинно-тракторной станции учётчицей, девушке спокойной и рассудительной, которая, по общему признанию соседей, умела найти к нему подход лучше, чем кто-либо другой в деревне. У них родилось трое детей — две дочери и сын, — и Степан, вернувшись к мирной жизни, снова сел за рычаги, теперь уже трактора, и проработал механизатором в колхозе до самой пенсии, с годами выучив и починку комбайнов, и вождение грузовика, когда того требовала нужда хозяйства.

По вечерам, когда позволяла погода, Степан любил посидеть на крыльце с самокруткой, молча наблюдая, как по улице гоняют мяч деревенские мальчишки, среди которых был и его собственный сын. Соседи уважали Степана без лишних слов — не за ордена, которые он надевал раз в год, а за то, что в распутицу именно его трактор первым выезжал вытаскивать застрявшие машины, и за то, что он ни разу за все послевоенные годы не отказал никому в помощи, если дело касалось техники. Сыну он сам, как когда-то отец ему самому, передал ремесло без долгих наставлений: посадил двенадцатилетнего мальчишку на сиденье трактора рядом с собой и показал, как трогаться с места плавно, не дёргая рычаги, — тем же самым движением, которому когда-то его самого учили на курсах при МТС.

Дочерей своих, в отличие от сына, Степан не торопился учить технике, хотя старшая, бойкая Нина, однажды тайком завела трактор без спроса и неуклюже, но благополучно объехала вокруг сарая, за что получила не нагоняй, а, к удивлению Клавдии, одобрительный кивок отца. Сама Клавдия вела дом так же ровно и расчётливо, как прежде вела учётные книги на МТС, и именно она многие годы разбирала за мужа бумаги, выбивала положенные по инвалидности льготы и следила, чтобы он вовремя показывался врачу, — сам Степан этим заниматься не любил, считая разговоры о собственном здоровье пустой тратой времени, которое лучше потратить на трактор или на внуков.

Старость его была омрачена последствиями контузии — временами накатывали головные боли и звон в ушах, особенно перед переменой погоды, — и застарелыми ожогами на предплечье, которые в холода начинали ныть так, что Клавдия без лишних слов подавала ему грелку, привычно угадывая его состояние по одному только взгляду. О войне Степан говорить не любил, и даже в праздничные застолья девятого мая обычно отмалчивался, пока соседи и сослуживцы вспоминали бои, а если и рассказывал что-то внукам, то больше про устройство машин, чем про сам бой, — будто технические подробности было легче произнести вслух, чем вспоминать живых людей, сгоревших у него на глазах. Лишь раз в году, девятого мая, он надевал пиджак с орденами, доставал из комода старую фотографию экипажа, сделанную ещё по пути на Курскую дугу, и подолгу молча смотрел на лицо Касыма Жумабекова, прежде чем убрать карточку обратно в ящик до следующего года.

В последние годы жизни, когда в доме появился телевизор, Степан каждое девятое мая послушно садился смотреть парад на Красной площади, но неизменно убавлял звук, едва дело доходило до бравурных дикторских комментариев о героическом подвиге советских танкистов, — предпочитал смотреть молча, своими глазами оценивая, как идёт по брусчатке новая техника, совсем непохожая на его фронтовую тридцатьчетвёрку.

Степан Фёдорович Горбунов умер в 1987 году, в возрасте шестидесяти восьми лет, от сердечного приступа, настигшего его в поле, рядом с трактором, на котором он, уже будучи пенсионером, по старой привычке помогал колхозу на уборочной. Хоронила его вся деревня, а на поминках старший внук, разбирая дедовский комод, нашёл ту самую фотографию танкового экипажа и орденскую книжку, в которой мелким, уже стёршимся карандашом рукой Степана было приписано на полях одно-единственное слово: "Прохоровка" — без даты, без пояснений, как будто этого одного слова было довольно, чтобы вместить в себя всё, что он не рассказал вслух за сорок с лишним послевоенных лет.

Лётчик Люфтваффе

Эрих Фосс родился в 1922 году в небольшом саксонском городке, в семье мастера на текстильной фабрике, человека сдержанного и рассудительного, который всю жизнь гордился тем, что умеет чинить любой станок в цеху и не обращается за помощью к инженерам. Детство Эриха пришлось на тяжёлые годы Веймарской республики: отец месяцами сидел без полной зарплаты, когда фабрика простаивала, мать перешивала старую одежду братьев для младшего, а по улицам то и дело маршировали колонны то одних, то других политических отрядов, выкрикивавших лозунги, которых мальчик толком не понимал, но запоминал на слух, как запоминают считалку. Еда в доме Фоссов в те годы была скудной и однообразной: на завтрак — ломоть чёрствого хлеба с жидким повидлом из падалицы, сваренным матерью загодя впрок, в обед — суп из брюквы или картофельных очистков, который в особенно скудные недели разводили водой погуще, чтобы хватило на всех, а мясо на столе появлялось по-настоящему редко, разве что на Рождество, да и то не каждый год. Эрих, уже стариком, со странной, почти виноватой ясностью вспоминал вкус того жидкого брюквенного супа детских лет отчётливее, чем вкус любого блюда, съеденного им в сытые более поздние десятилетия.

Небо заворожило его рано: над городком иногда пролетал почтовый биплан, и Эрих, задрав голову, провожал его взглядом до самого горизонта, забывая обо всём на свете. Германии по условиям Версальского договора было запрещено иметь военную авиацию, но запрет этот обернулся неожиданным даром для таких мальчишек, как Эрих, — в стране массово развивался планерный спорт, формально безобидное увлечение, которое на деле готовило будущих военных лётчиков задолго до того, как в 1935 году люфтваффе были открыто воссозданы. В двенадцать лет Эрих вступил в местный авиамодельный кружок, а в четырнадцать, едва вступив в гитлерюгенд вместе со всеми сверстниками — скорее по заведённому порядку, чем по убеждению, которого в этом возрасте ещё толком не могло сложиться, — записался в планерную секцию, которую организация охотно поддерживала и снабжала инструкторами.

Свой первый самостоятельный полёт на учебном планере со склона холма под Дрезденом Эрих помнил спустя десятилетия во всех подробностях: сухой треск отцепляемого троса, свист ветра в расчалках, короткое, почти невесомое ощущение полёта, обрывающееся через минуту мягкой посадкой на траву. Это чувство — чистое, не замутнённое ничем посторонним — он позже тщетно искал в кабине боевого истребителя и так и не нашёл снова.

В 1939 году, семнадцати лет от роду, Эрих поступил в лётную школу люфтваффе, куда его взяли без особых колебаний — опыт планериста ценился, да и физическая подготовка молодого саксонца была безупречной. Обучение в довоенные и первые военные годы ещё велось по относительно полной программе: будущих пилотов учили не только управлять машиной, но и тактике воздушного боя, навигации, обслуживанию мотора, и к выпуску, уже освоив истребитель "Мессершмитт" Bf.109, Эрих налетал несколько сотен часов — цифра, которая несколькими годами позже покажется немыслимой роскошью для новичков, отправляемых на фронт.

Весной 1941 года его часть перебросили на восток, и вскоре после нападения Германии на Советский Союз Эрих совершил первые боевые вылеты над бескрайними, чужими пространствами, которые поражали его одним своим масштабом — после аккуратных немецких ландшафтов, расчерченных на поля и просёлки, здесь под крылом тянулись леса и степи без конца и края, а зимой земля превращалась в сплошную белую пустыню, в которой легко было заблудиться даже опытному штурману. Аэродромы на востоке редко представляли собой нечто большее, чем утрамбованную полосу земли посреди поля, с наспех сколоченными щитовыми домиками для личного состава, и зимой техникам приходилось отогревать мотор факелами и

подогретым маслом, чтобы вообще завести его на тридцатиградусном морозе. Эрих довольно быстро выучился ненавидеть эту зиму сильнее, чем вражеские истребители.

Зимой 1942 года, когда шли тяжёлые бои под Сталинградом, эскадрилью Эриха несколько раз поднимали на прикрытие транспортных самолётов, пытавшихся снабжать окружённую в городе немецкую группировку по воздуху, — задача, которая с каждой неделей становилась всё более похожей на заведомо проигранную авантюру, поскольку транспортные машины одна за другой гибли от огня советских истребителей и зенитной артиллерии, а то немногое, что долетало до окружённых, не могло восполнить и малой доли того, что требовалось для снабжения целой армии. Эрих тогда впервые лично увидел, как рушится уверенность кадровых офицеров в непобедимости собственной военной машины: в офицерской столовой разговоры становились всё тише и всё осторожнее, а вслух сомнений в исходе сталинградской операции никто себе по-прежнему не позволял. Он навсегда запомнил один декабрьский вылет, когда прямо у него на глазах неповоротливый трёхмоторный «Юнкерс» с продовольствием для окружённых, едва успев набрать высоту над аэродромом подскока, был сбит зенитным огнём и рухнул, так и не долетев до котла, — а вместе с ним исчез и знакомый ему ещё по лётной школе штурман, с которым они когда-то вместе сдавали экзамен по навигации.

К 1943 году на его счету числилось уже несколько десятков боевых вылетов и подтверждённых побед, он успел дважды оказаться в госпитале — один раз с обморожением после вынужденной посадки на нейтральной полосе, другой раз с ранением в плечо от зенитного осколка, — и каждый раз возвращался в строй, потому что опытных пилотов становилось всё меньше, а дыры в расписании вылетов нужно было кем-то закрывать. Именно тогда он впервые начал замечать то, что сам для себя неохотно называл "усталостью машины войны": новые самолёты приходили с завода всё более поспешно собранными, моторесурс двигателей сокращали ради экономии материалов, а пополнение, прибывавшее в эскадрилью, выглядело моложе и необученнее с каждым месяцем.

Летом того же года, в начале июля, когда южнее Курска началось немецкое наступление, которое позже назовут последним крупным стратегическим рывком вермахта на востоке, эскадрилья Эриха почти ежедневно поднималась на прикрытие пикирующих бомбардировщиков, утюживших советские танковые колонны. Один такой вылет, в разгар боёв под Прохоровкой, запомнился ему особенно отчётливо: внизу, насколько хватало глаз, степь тонула в дыму десятков горящих машин, своих и чужих вперемешку, а в воздухе одновременно крутилось, казалось, не меньше сотни самолётов с обеих сторон, так что держать строй в этой карусели не удавалось никому. Эриха атаковали сразу два советских истребителя, зашедшие с разных сторон, и он, бросая машину из виража в вираж на пределе возможностей мотора, сумел уйти только благодаря тому, что один из противников, увлёкшись погоней, прозевал третьего, подоспевшего ему в хвост товарища Эриха. Сам бой, по позднейшим подсчётам штаба, продлился не больше четырёх минут, но Эриху, выбиравшемуся из кабины на аэродроме, эти минуты показались растянутыми на целый час, а руки у него дрожали так, что он не сразу смог расстегнуть привязные ремни.

Одна встреча той осенью запомнилась ему особенно крепко и впоследствии не раз возвращалась в снах. После воздушного боя над лесным массивом восточнее Орла он сбил одиночный советский истребитель, который дотянул до земли и сел на брюхо на опушке; по уставу полагалось добить машину на земле пулемётной очередью, чтобы исключить возможность её восстановления, но Эрих, снизившись для повторного захода, увидел, как из кабины неловко, с трудом выбирается раненый лётчик и, не разгибаясь, бежит к спасительной кромке леса. Он отвёл машину в сторону, дав короткую очередь по фюзеляжу уже оставленного истребителя, и до конца жизни так и не смог для себя решить, было ли это проявлением человечности или просто минутной слабостью, за которую начальство по счастливой случайности так и не спросило.

На земле в такие моменты не было места долгим размышлениям — эскадрилья жила от вылета к вылету, и свободные часы уходили на сон, письма домой и редкие минуты тишины в землянке, протопленной самодельной печью из бочки. Именно в письмах той поры, которые Хильдегард бережно хранила потом всю жизнь, впервые зазвучала та самая сдержанность, которая впоследствии станет главной чертой Эриха как мужа и отца: ни слова о подробностях службы, только вопросы о доме, саде родителей и соседских новостях, будто война происходила где-то в другом, отдельном от обычной жизни измерении.

К лету 1944 года положение сделалось таким, что даже рядовому пилоту, далёкому от штабных сводок, стало ясно: война для Германии в воздухе проиграна задолго до любого официального признания этого факта. Союзная авиация методично разбомбила заводы синтетического горючего, а потеря румынских нефтепромыслов под Плоешти лишила люфтваффе последнего крупного естественного источника топлива; горючего не хватало катастрофически, и вылеты, которые годом раньше планировались по собственной инициативе эскадрильи, теперь утверждались только при полной уверенности, что топлива хватит и на вылет, и на возвращение. Параллельно с этим подготовка новых лётчиков, прежде занимавшая по полгода и больше, сократилась до нескольких недель, а порой и того меньше: курсантов, едва освоивших взлёт и посадку, пересаживали прямо на боевые машины и отправляли в первый вылет, из которого многие не возвращались.

В августе 1944 года, когда советские войска уже вовсю теснили немецкий фронт в Белоруссии и Польше, эскадрилью Эриха подняли на прикрытие отступающей наземной колонны, которая отходила по единственной уцелевшей дороге под непрерывным давлением наступающих частей. Приказ был прост и невыполним одновременно: не допустить штурмовых ударов по колонне, продержаться в воздухе столько, сколько позволит остаток горючего, а затем немедленно идти на посадку, потому что запасного топлива на аэродроме не оставалось вовсе. Эрих поднял машину в паре с молодым унтер-офицером по фамилии Кремер, прибывшим в часть всего неделю назад и успевшим налетать до этого от силы тридцать часов, — и уже на подходе к колонне стало ясно, что именно этот неопытный напарник, а не противник, станет главной заботой на весь вылет.

Советские штурмовики появились из-за низкой облачности внезапно, тремя группами, и Эрих, бросив машину в разворот наперехват, краем глаза успел заметить, как Кремер, вместо того чтобы атаковать сбоку, как было условлено ещё на земле, растерянно закружил на месте, подставляя себя под удар стрелка хвостовой турели. Эрих рванулся ему наперерез, дал короткую очередь по приближавшемуся штурмовику, заставив того отвернуть, но боковым зрением уже видел, как из мотора машины Кремера потянулась тонкая струйка дыма — не критическая пробоина, но достаточная, чтобы унтер-офицер, вместо того чтобы попытаться дотянуть до аэродрома, в панике выбросился с парашютом прямо над отступающей колонной, бросив неповреждённый по сути истребитель падать и взрываться в стороне от дороги. Эрих остался прикрывать колонну в одиночку, с приборной стрелкой расхода топлива, неумолимо ползущей к нулю, понимая, что через несколько минут выбор у него будет один: садиться на ближайшем ровном поле или падать там, где заглохнет мотор.

Он дотянул до своего аэродрома на последних каплях горючего, мотор поперхнулся и замолчал уже на пробеге после касания колёс земли, и, выбираясь из кабины, Эрих поймал себя на мысли, которая показалась ему одновременно кощунственной и до отвращения честной: он не чувствовал ни гордости за выполненный приказ, ни ужаса от гибели Кремера, а только сухую, вымотанную до предела усталость человека, который давно перестал верить, что всё это имеет какой-либо смысл, кроме как дотянуть до земли живым ещё один раз. Колонна, которую он прикрывал, дошла до следующего рубежа обороны с потерями, но дошла, и в штабной сводке этот вылет значился успешным, хотя сам Эрих в тот вечер напился в столовой тише и

мрачнее обычного, а имя Кремера в разговорах эскадрильи упоминалось после того дня ровно один раз — при составлении списка пропавших без вести.

Войну Эрих закончил в мае 1945 года в северной Германии, сдавшись в плен британским частям вместе с остатками своей эскадрильи за несколько дней до официальной капитуляции; машины к тому моменту всё равно стояли без горючего, и последним актом его службы стало не сражение, а сожжение документов эскадрильи во избежание их попадания в чужие руки. В лагере для военнопленных под Шлезвигом, где содержались преимущественно бывшие лётчики, дни походили один на другой: разборка завалов, заготовка дров, скудный, но регулярный паёк, выдаваемый британской администрацией без особой враждебности, и долгие вечерние разговоры с такими же, как он, уцелевшими пилотами о том, что будет с Германией дальше, — разговоры, в которых всё чаще звучало не раскаяние, а растерянность людей, не понимающих, как жить дальше без формы, без эскадрильи и без всякой ясной цели. Пробыв там около года, Эрих вернулся в родной саксонский городок весной 1946 года — город к тому времени оказался в советской оккупационной зоне, а вскоре и в составе новообразованной Германской Демократической Республики, что для бывшего лётчика люфтваффе означало долгие годы настороженного молчания о собственном военном прошлом перед соседями и даже перед новыми властями.

Профессию лётчика Эрих больше никогда не практиковал — гражданская авиация в ГДР первых послевоенных лет едва существовала, да и анкета бывшего офицера люфтваффе закрывала перед ним многие двери, — и он устроился техником на ту же текстильную фабрику, где когда-то работал мастером его отец, быстро освоившись с механикой станков так же цепко, как в своё время осваивался с мотором истребителя. Старые станки фабрики требовали того же внимательного слуха к перебоям в механизме, какой он когда-то развил в себе, различая на слух перегрев авиационного мотора, и мастера цеха вскоре стали звать его за глаза Лётчиком — скорее с уважительным любопытством к человеку, умевшему так ловко обращаться с железом, чем с какой-либо насмешкой. Однажды новый партийный секретарь цеха, просматривая личные дела техников, поинтересовался вслух, что именно товарищ Фосс делал до сорок пятого года, и Эрих, не моргнув глазом, ответил то же самое, что отвечал всегда: служил в авиации, демобилизован по окончании войны, — ответ формально честный и вместе с тем надёжно умалчивающий о сбитых им машинах и о годах на Восточном фронте. Секретарь удовлетворился ответом и больше к этой теме не возвращался, но Эрих ещё долго после этого разговора избегал смотреть ему в глаза на цеховых собраниях. С Хильдегард он познакомился ещё в сорок третьем году, во время короткого отпуска по ранению, когда она, тогда совсем молодая сестра милосердия, меняла ему повязку на обмороженной руке в городской больнице и разговаривала с ним так просто и буднично, без всякого придыхания перед лётной курткой с нашивками, что Эрих, привыкший к восторженным взглядам штатских, растерялся сильнее, чем в иных воздушных боях. Переписывались они после этого ещё два года — скупо, урывками, письма то терялись, то приходили пачками за несколько месяцев разом, — и поженились они в 1948 году, когда оба уже твёрдо знали, что пережитое за эти годы связало их крепче, чем могло бы связать обычное довоенное ухаживание. У них родилось двое детей — сын и дочь, — которым отец никогда подробно не рассказывал о годах на Восточном фронте, отделываясь в редких случаях общими фразами о том, что "там было холодно и трудно", и решительно меняя тему, если кто-то из детей пытался расспросить подробнее. Первые годы их семейной жизни прошли при карточной системе и строгой экономии, памятной Эриху ещё по детству: Хильдегард, привыкшая в больнице растягивать скудные запасы бинтов и лекарств, с той же бережливостью вела и домашнее хозяйство, перешивая одежду старшего ребёнка для младшего точно так же, как когда-то в его собственном детстве делала его мать, — и Эрих, глядя на это, иногда ловил себя на горьком ощущении, что история его семьи идёт по кругу, меняя только десятилетие на календаре.

Лишь однажды, уже глубоким стариком, в разговоре с внуком, который готовил школьный доклад по истории и настойчиво просил деда рассказать "что-нибудь настоящее", Эрих вдруг заговорил — коротко, без прикрас — о гибели унтер-офицера Кремера и о собственном чувстве, которое не отпускало его все последующие десятилетия: о том, что он, опытный и осторожный, уцелел, а мальчишка, брошенный в небо почти без подготовки, погиб из-за спешки и просчётов системы, которой Эрих служил, не особенно задумываясь о её природе, пока был молод. Внук тогда не до конца понял, о чём говорит дед, но запомнил его лицо в ту минуту — лицо человека, который десятилетиями носил в себе вопрос без ответа.

Эрих Фосс умер в середине девяностых годов, уже после объединения Германии, в возрасте за семьдесят, тихо, от старости, в том же городке, где родился, пережив жену на несколько лет. Похоронили его скромно, по-семейному, и из вещей, которые дети разобрали после его смерти, самой неожиданной оказалась небольшая потрёпанная записная книжка с рядами дат и цифр расхода топлива — последняя, сугубо техническая память человека, для которого слово "горючее" всю оставшуюся жизнь значило куда больше, чем простое название машинного масла. Внук, вспоминая впоследствии тот единственный откровенный разговор о Кремере, забрал эту записную книжку себе и хранил её потом среди немногих вещей, по-настоящему связывавших его с прошлым, которое он сам не застал, но которое, как ему казалось, объясняло дедовское многолетнее молчание куда лучше, чем могли бы объяснить любые рассказы.

Партизан в тылу врага

Ольга Степановна Гаврилюк родилась в 1919 году в деревне Боровники, что лежала среди сосновых грив и моховых болот витебской земли, в пяти верстах от узкоколейки и в двенадцати — от уездного местечка, где была церковь, лавка и фельдшер. Отец её, Степан Гаврилюк, держал крепкое по деревенским меркам хозяйство — лошадь, две коровы, клин земли под рожью, — а после коллективизации стал бригадиром в колхозе «Заря», не без ворчания, но и не без облегчения: земля теперь спрашивала с него меньше, чем прежде спрашивала с единоличника. Мать, Арина Власьевна, растила пятерых, из которых Ольга была третьей и, по общему мнению родни, самой упрямой.

В школу она пошла в Боровниках же, в бывшем поповском доме, где теперь висел плакат с Лениным и облупилась голландская печь. Училась легко, с жадностью, читала всё, что попадало в руки — брошюры, старые журналы, однажды целую зиму перечитывала растрёпанный том Короленко, выменянный у соседки на моток ниток. В четырнадцать лет её отправили в Витебск, в педагогический техникум, — колхоз нуждался в своих учителях, и Ольгу, как способную, рекомендовал сельсовет. Она вернулась через три года с дипломом и назначением в ту же школу, где когда-то сидела за партой сама, и стала учить деревенских детей чтению, письму и арифметике, а по вечерам вела ликбез для взрослых — для тех, кто ещё не разбирал по складам собственную фамилию в амбарной книге.

К лету 1941 года ей было двадцать два. Она не была замужем — был парень, Семён, тракторист из соседнего Прудцов, и дело шло к свадьбе, которую назначили на август. Жизнь казалась устроенной настолько, насколько вообще может казаться устроенной жизнь деревенской учительницы в канун большой беды, о которой никто ещё не знал.

Двадцать второго июня она услышала о войне по радио в сельсовете — хриплый голос диктора плыл сквозь треск, и ещё с полминуты никто в комнате не двигался, будто ждал, что слова можно будет взять обратно. Витебская область лежала на прямом пути немецкого наступления, и уже в начале июля через Боровники потянулись отступающие — сперва колонны с ранеными, потом одиночки, потом пустые просёлки, по которым прошла война и не оставила за собой никого, кому можно было бы задать вопрос. Немцы вошли в местечко в середине июля. В Боровники явились спустя неделю — на мотоциклах, с полевой кухней, с молодым лейтенантом, который через переводчика назначил старостой бывшего кулака Силантия Коробова, высланного когда-то из деревни и теперь вернувшегося с охотной готовностью сводить счёты.

Оккупация началась не с расстрелов — она началась с описей. Переписывали скот, переписывали зерно, переписывали людей призывного и работоспособного возраста. По деревням поползли слухи об облавах на молодёжь для отправки в Германию — слухи подтвердились в сентябре, когда в соседнем Залужье за одну ночь увезли одиннадцать девушек и парней, погрузив их, как рассказывали потом, в крытые грузовики, будто скот. Школу в Боровниках закрыли — немецкая комендатура не видела нужды учить детей колхозников грамоте сверх той, что требовалась для чтения распоряжений оккупационных властей, — и Ольга осталась без работы, без жениха (Семёна взяли в армию ещё в июне, и вестей от него не было), с матерью и младшими сёстрами на руках.

В ноябре 1941 года старший брат Ольги, Фёдор, ушёл в лес — туда, где, по глухим слухам, собирались те, кто не признал ни старосту, ни комендатуру. Весной 1942-го через него пришла связь: Ольгу предупредили, что её имя внесено в список на отправку в Германию на следующую весну, как учительницу без работы и, значит, «незанятую рабочую силу». В апреле она ушла из деревни ночью, взяв с собой только то, что помещалось в узел, и мать благословила её молча, без слов, которые бы выдали страх, — только перекрестила в темноте сеней.

Отряд, в который привёл её Фёдор, назывался «Мститель» и стоял в глухих лесах между Боровниками и Лепельским трактом, в краю, где сходились болота трёх районов и куда немецкие гарнизоны соваться опасались без крупных сил. Командовал отрядом Пётр Антонович Шугай, довоенный председатель соседнего сельсовета, человек немолодой уже, тяжёлый на подъём, но цепкий и осторожный, каким и должен быть командир, отвечающий не только за боевые задачи, но и за полторы сотни душ, зимующих в землянках среди снега и голода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.